



ВИКТОР ПЛАТОНОВИЧ

НЕКРАСОВ



ВИКТОР ПЛАТОНОВИЧ
НЕКРАСОВ



Кира Георгиевна
В родном городе
Маленькая печальная повесть



Издательство АСТ
Москва

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Н48

Серия «Русская классика»

Серийное оформление и дизайн обложки *Р. Алеева*

Некрасов, Виктор Платонович.

Н48 Кира Георгиевна; В родном городе; Маленькая печальная повесть: [сборник] / Виктор Платонович Некрасов. — Москва : Издательство АСТ, 2026. — 480 с. — (Русская классика).

ISBN 978-5-17-189759-8

Меланхоличная и пронзительная проза Виктора Некрасова не ограничивается классикой «лейтенантской прозы» — повестью «В окопах Сталинграда». В данное издание вошли три других произведения автора — написанные в разное время, но объединенные жизненностью происходящего и глубокой проработкой персонажей.

В размеренное существование успешного скульптора Киры Георгиевны врывается освобожденный из лагерей первый муж...

Фронтовой разведчик Николай Митясов прибывает на лечение в тыловой госпиталь в родном городе и узнает, что жена его не дождалась...

Непростая, но привычная жизнь троицы друзей, главных героев «Маленькой печальной повести», рушится, когда один из них, успешный танцор балета, просит политического убежища в Канаде...

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-189759-8

© В.П. Некрасов, наследники, 2026
© ООО «Издательство АСТ», 2026



Кира Георгиевна



После третьей или четвертой рюмки начали спорить об искусстве. О том о сем и наконец о том, можно ли считать настоящим произведением искусства неопубликованный роман, повесть или рассказ. Тут мнения раскололись. Одни говорили да, другие — нет. И те и другие очень убедительно. Убедительней же всех Кира Георгиевна. Так, во всяком случае, казалось ей. Ну не все ли равно, напечатан рассказ в типографии или написан от руки в детской тетради. Он есть, он появился, родился — и все! Сколько у этого рассказа читателей — неважно, хотя бы один, хотя бы сам автор, важно, чтоб он был написан.

— Вот я высеку из мрамора твою, Лешка, голову. — Лешка, молодой, задиристый художник, был ее главным оппонентом. — Высеку со всеми ее вихрами во все стороны и оставлю в мастерской, на выставку не дам. Что ж, оттого, что она будет стоять у меня на Сивцевом Вражке, а не на Кузнецком, в выставочном зале, что ж, значит, она уже не произведение искусства? Ерунда!

Все это Кира Георгиевна говорила весело, как всегда напористо, не давая себя перебить. Она любила спорить. Ей доставлял удовольствие сам процесс спора, обстановка его. Прокуренная комната, художники, горящие глаза, все друг друга перебивают. Биение мысли... В этом тоже есть что-то от самого искусства.

— А вообще, дело не в этом, — продолжала она, — не в том, где и как выставлено то или иное произведение,

а в том умении художника, ухватив самое яркое, своеобразное, создать обобщенный образ...

— Ну и так далее. Ясно! Точка! — перебил ее веселый, лохматый Лешка. — А что ты скажешь о Шубине, великом скульпторе Шубине? Обобщал он или нет? А? Каждый его вельможа сам по себе, индивидуален, черт возьми!

— Погоди, погоди...

Но тут все заговорили хором, Кира Георгиевна сбилась, потеряла нить своих рассуждений и потребовала коньяку. От коньяка вдруг захмелела (она больше говорила, что может много выпить) и вышла на балкон.

Внизу до самого горизонта мигала огнями праздничная Москва. Кремль и высотные здания были освещены прожекторами.

«А вот и красиво, — подумала Кира Георгиевна, — даже очень. И Кремль, и высотные здания, и как все это отражается в воде. И черт с ним, что в этих высотных зданиях нет логики. Сейчас они красивы, именно сейчас, — белые среди ночи, колючие. Вот и вся логика. И машины бегают внизу с красными огоньками... Нет, вниз смотреть не надо... — Она отвернулась. В комнате продолжался спор. — И ребята все славные. Хорошие, славные ребята. И Лешка, и Вовка, и Григорий Александрович... Ну, этот, правда, немного болван и работать не умеет, но старик добрый, покладистый. Пил бы только меньше. И Юрочка, кстати, тоже. Он что-то там подсел к этому пьянице Смородническому, а ему еще домой меня отвозить...»

И потом, в такси, сидя рядом с Юрочкой, она думала, какой он, Юрочка, славный, какой милый и деликатный, как стесняется, вот даже сейчас, хотя бы нечаянно задеть ее рукой. «А ведь я нравлюсь ему, честное слово, нравлюсь», — подумала она, и эта мысль, что она может нравиться простому, здоровому двадцатидвухлетнему парню, была ей особенно приятна. Она искоса посмотрела на него.

Он сидел прямо, положив руки на колени, и через плечо шофера смотрел на бегущий навстречу асфальт.

— Дуешься, Юрочка, а?

Юрочка ничего не ответил. Весь вечер она слегка поддразнивала его, а он, дурачок, обижался. Сначала велела ему снять галстук (у него, мол, красивая шея и незачем этот хомут таскать), и он послушно снял галстук, расстегнул ворот, и все почему-то рассмеялись. Потом при всех стала говорить о лепке его лица, о мужественной линии подбородка, о том, что начала лепить его голову, и тут он совсем смутился. Юрочка вообще всегда смущался в ее компании — он простой электромонтер, а Кирины друзья все художники, скульпторы. Среди них даже несколько заслуженных и один лауреат. От смущения он подсел к Сергею Смородницкому, бывшему моряку, от которого только в третьем часу ночи Кира Георгиевна с трудом его оторвала. Сейчас он дулся. А ей было смешно. И приятно.

У подъезда громадного дома по улице Немировича-Данченко они отпустили такси.

— Я провожу вас наверх, — мрачно сказал Юрочка, — лифт не работает.

— Не стоит, я не боюсь, — сказала Кира Георгиевна, но он, ничего не ответив, вошел в парадное и быстро побежал вверх.

«Славный, хороший, бесхитростный парень, — подумала Кира Георгиевна. — Куда всем Смородницким и Лешкам до него!»

Слегка запыхавшись, она поднялась на шестой этаж. Юрочка стоял, облокотившись о перила, и смотрел в пролет лестницы.

— Ну, спасибо, — сказала она и протянула руку. — До завтра. В одиннадцать прошу, минута в минуту.

Вместо ответа Юрочка решительно притянул ее к себе, неуклюже, крепко поцеловал и так же решительно ринулся вниз.

Первой мыслью Киры Георгиевны было — как хорошо, что не она это сделала, второй — как неприятен запах винного перегара, и только третьей — что завтра Юрочку надо будет отчитать.

Внизу хлопнула дверь.

Кира Георгиевна отворила ключом английский замок. Дома все спали. Она заглянула зачем-то в кухню, потом на цыпочках подошла к комнате Николая Ивановича и слегка приоткрыла дверь. Он, как всегда, сразу же включил свет и приподнялся на своем диване, моргая близорукими глазами.

— Ну как, повеселилась?

— Спи, спи. Повеселилась.

Он надел очки и стал шарить папиросы.

— А Григорий Александрович был?

— Был, был... И зачем ты ночью куришь? Спи.

Он улыбнулся мягкой, виноватой улыбкой и вместо папиросы взял из пепельницы бычок.

— Ну разве это курение? Просто так...

— Вот это «просто так» хуже всего, — сказала Кира Георгиевна и, глядя на его слегка обрюзгшее, с мешками под глазами, доброе лицо, подумала: «Нет, ей-богу, нет на свете человека лучше его». И потом, стоя в своей комнате у раскрытого окна и вдыхая свежий, весенний, совсем не городской воздух, глядя на померкнувшую уже Москву, на четко вырисовывавшийся на востоке силуэт города, она думала, как сейчас хорошо и какой добрый, чуткий, настоящий человек Николай Иванович — ее муж.

2

Жизнь у Киры Георгиевны — или, как ее называли друзья, Кили (в детстве она долго не могла произнести букву «р») — поначалу сложилась как будто весело и легко.

Родилась и жила до войны в Киеве. Отец был врачом-отоларингологом — слово, которое Киля тоже очень долго не могла выговорить, мать, как пишут в анкетах, домохозяйкой. Был еще младший брат Мишка — лентяй, футболист и первый во дворе драчун.

Учась в школе, Киля мечтала стать балериной и ходила даже в балетную студию, потом, поступив в скучнейшую, ненавистную ей торгово-промышленную профшколу («почему-то надо обязательно куда-то поступать»), стала мечтать о карьере киноактрисы — она была стройненькой, с веселыми глазами, кудрявой, подстриженной под мальчика, и профшкольные друзья уверяли ее, что она исключительно фотогенична (в то время очень модным было это слово). В зеркале на ее туалете появились фотографии знаменитых киноартистов тех лет. Одно время она носила даже челочку а-ля Лиа де Путти. Потом она остыла к кино и увлеклась живописью, очень левой, приводившей ее добропорядочных родителей в ужас. На экзамене в художественный институт старика швейцара, позировавшего экзаменующимся, сделала зеленым и под Сезанна. Тем не менее ее приняли — правда, не на живописный, а почему-то на скульптурный факультет.

В институте было весело и не очень утомительно. Приятно было ходить с этюдником, отмывать бензином на платье масляную краску и глину, с профессиональным апломбом рассуждать о колорите, густоте тона, прозрачности теней, восторгаться Матиссом, Гогеном, Майолом, скептически улыбаться, когда упоминали Сурикова или Антокольского. В институте она научилась курить. Там же она влюбилась. Сперва в Сашку Лозинского, своего однокурсника, физкультурника, певца и гитариста, потом в очкастого Веньку Лифшица, писавшего стихи. Венька ввел ее в кружок поэтов. Там оказалось еще веселее. Читали друг другу стихи, свои и чужие, писали пародии, спорили, остряли, бродили ночами по надднепровским

паркам, немножко пили — не столько по охоте, сколько для взрослости. Там же она познакомилась с Вадимом Кудрявцевым.

Все, что ни делала Киля, она делала не задумываясь. Отказывать себе в чем-либо она не любила. Решение принимала сразу и тут же выполняла, родители не успевали даже пикнуть. Как-то вечером она привела в дом высокого, стройного, голубоглазого парня лет двадцати, в зеленой футболке, с копной черных, как у цыгана, волос, падавших на глаза. Представила его как талантливейшего из всех известных ей сейчас поэтов. Тут же, страшно смущаясь, он вынужден был прочесть две свои поэмы — «Муравьиные следы» и «Скучающий бумеранг». Родители, с трудом признававшие даже Блока, растерянно слушали. Киля же не сводила сияющих, восторженных глаз со своего Димки. Через три дня они поженились.

С милым рай и в шалаше. Ей было восемнадцать лет, ему двадцать. Поселились они в крохотной Димкиной комнатке на пятом этаже, которую он снимал, поссорившись с отцом, крупным инженером. Окно комнаты выходило на крышу, но за ней виднелись сотни других крыш, и обоим это очень нравилось — совсем Монмартр, мансарда. «Монмартрскими» казались им и сверхлевые Килины упражнения, развешанные по всем стенам, и две черные негритянские маски с оттопыренными губами, сделанные тоже ею. В комнате всегда был дикий беспорядок, везде валялись на обрывках бумаги Димкины стихи, а одно было написано прямо на стене.

Кроме стихов, у Вадима была еще кинофабрика. Работал он там ассистентом режиссера, хотя никакого специального образования не имел, просто был молод, предприимчив и любил кинематографическую суету. Киля тоже любила суету. И артистов любила, и свет «юпитеров», и ночные съемки, на которые стала ездить вместе с Вадимом, и заезды в ночной «Континенталь» — одним словом,

все то, что на пресном языке ее родителей называлось страшным словом «богема».

Занятия в институте были почти совсем заброшены. Их вытеснила лепка и стройка каких-то декораций в громадном павильоне кинофабрики. Кроме удовольствия и кое-каких денег, это давало возможность познакомиться с такими людьми, как Довженко, Пудовкин, Эйзенштейн. С Эйзенштейном Киля как-то завела даже полемику на одном из его докладов. Одним словом, было весело и хорошо. Все это происходило в тридцать шестом году. Через год Вадима арестовали.

Симпатичную «монмартрскую» комнату опечатали. Киля вернулась к родителям. Дома царил траур. Несколько раз Килю вызывали в большой серый дом на улице Короленко и говорили о Димке страшные вещи, которым невозможно было поверить. В институте ее тоже несколько раз приглашали на собеседование и через месяц исключили. Началось хождение по каким-то учреждениям. Отец взял отпуск за свой счет и поехал с Килей в Москву. Через год Килю восстановили, но не на ее курсе, а курсом ниже.

Первые недели и даже месяцы после ареста Вадима Киля ходила сама не своя. Все было так неожиданно, так страшно. Веселый ее Димка, бесшабашный Димка, писавший стихи о «тучках зеленых, стрелою пронзенных Амура, что отдал колчан свой в ломбард», голубоглазый ее Димка, безалаберный, легкий, все всем раздающий, всеобщий любимец, и вдруг — враг народа...

Через год или полтора после его ареста пришло от него письмо. Как и откуда оно было отправлено — неизвестно, но на конверте был штампель Москвы, и адрес написан незнакомой рукой. В письме было всего несколько строчек — жив, здоров, а кроме того, сказано, что она может не считать себя его женой, он дает ей свободу. Вот и все. «Целую. Твой Димка». Написано на обрывке бумаги торопливым кривым почерком. Больше о нем она ничего не слыхала.

Наложили ли все эти события какую-либо печать на Килю? И да, и нет. Беспечная, жившая как бы на поверхности жизни, весело скользившая по ней, Кия вдруг поняла, что, кроме шумных вечеринок и чтения стихов, кроме милых рисуночков, развешанных по стенам, есть нечто более сложное, важное, не всегда понятное и, увы, не всегда приятное. Но у нее был завидный характер, она умела быстро забывать то, что осложняет жизнь. Возможно, это и не лучшая черта человеческого характера, но Киле самой и ее окружающим эта черта облегчала жизнь. Через три года, в эвакуации, она помогла Кире — теперь ее все реже звали Килей, — ее матери и младшему брату жить в тех не слишком легких условиях, в которых они жили, помогла пережить и смерть отца. Короче, Кира умела не унывать. Она работала в местной газете, снабжая ее карикатурами на Гитлера и Геббельса, писала лозунги в клубе, плакаты для кинотеатра, преподавала рисование в первых классах, стояла в очередях, носила пайки, а иногда по ночам растаскивала вместе с соседями деревянные заборы на дрова. Все это она делала легко, и если не всегда с удовольствием, то никогда не ныча.

О Вадиме она всегда помнила — две его карточки, одна серьезная, паспортная, другая, где он снят делающим стойку на пляже, висели у нее над кроватью, — но, что говорить, время прошло, и первоначальная острота потери притупилась. Как ни странно, чаще вспоминала о Вадиме Софья Григорьевна, Кирина мать, в свое время называвшая его «этот тип», и младший брат Мишка, влюбившийся по уши в своего зятя или шурина (никто толком не знал, кем он ему приходится), научившего его плавать, прыгать в воду вниз головой, соскакивать с трамвая на полном ходу, а главное, курить.

Прошло еще пять лет. В сорок шестом году, в Алма-Ате, Кия познакомилась с Николаем Ивановичем Оболенским, профессором художественного института, и еще

через год уехала с ним в Москву. Несколько позже переехала туда же и Софья Григорьевна с Мишкой.

Бедные матери, как трудно им ко всему привыкать. Куда труднее, чем детям. И как не могла Софья Григорьевна сразу привыкнуть к тому, что их маленькая Киля стала вдруг женой какого-то никому не известного человека в зеленой футболке, от которого пахло табаком, а иногда и водкой, так же трудно было ей свыкнуться с мыслью, что Киля ее вышла замуж за Оболенского. Вадим все-таки был почти ровесником Кили, и, как говорили соседки, они «чудесная пара». И вообще, как вскоре выяснилось, при всем своем легкомыслии Вадим был добрый, веселый, услужливый и, главное, любил Килю. И она его. И Софья Григорьевна полюбила его тоже. А Оболенский? Седой, лысый, пожилой вдовец с брюшком, с диабетом, всегда обсыпанный пеплом, молчаливый, тихий. Правда, известный и состоятельный. Неужели Киля позарилась на положение, на деньги, связи? Не может быть...

3

Кире Георгиевне шел сорок второй год, но, как ни странно, она этого не чувствовала. Она по-прежнему была стройна (особое удовольствие ей доставляло, когда на улице или в магазине ее называли «девушка»), по-прежнему любила пляж, плавание, греблю (к сожалению, на это теперь оставалось очень мало времени). Она не думала, в отличие от своих приятельниц, ни о какой диете, сохраняющей фигуру, не жаловалась на сердце, головные боли. Волосы, правда, она уже подкрашивала, и, нужно сказать, довольно тщательно, чтоб не было видно седеющего пробора, но во рту были только две золотые коронки, в самой глубине, видные только, когда она смеялась, и лицо было свежее, почти без морщин — посторонние давали ей никак